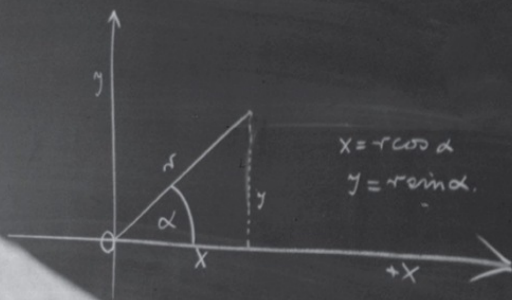


ГЕРШОМ ШОЛЕМ

# От Берлина до Иерусалима

Воспоминания о моей юности



Перевод с немецкого  
Александра Ярина

Гершом Шолем

**От Берлина до Иерусалима.  
Воспоминания о моей юности**

«Издательство Грюндриссе»

1977

**Шодем Г.**

От Берлина до Иерусалима. Воспоминания о моей юности /  
Г. Шодем — «Издательство Грюндриссе», 1977

ISBN 978-5-904099-39-8

Автор этой книги Гершом (Герхард) Шодем (1897-1982) занимает особое место в мире еврейской мысли. Уникальность его, по слову Мартина Бубера, определяется тем, что он фактически единолично создал академическую область, которая — как мы теперь видим — включает исследование и анализ каббалистической литературы в её историческом! развитии, феноменологию религиозного мистицизма, духовную и политическую проблематику сионизма и в целом! иудейской цивилизации. Настоящее издание воспроизводит на русском языке итоговую версию автобиографии, вышедшую в 1997 году — к 100-летию со дня рождения Г. Шолема. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

ISBN 978-5-904099-39-8

© Шодем Г., 1977

© Издательство Грюндриссе, 1977

## Содержание

От издательства	6
I	8
II. Еврейская среда	31
Конец ознакомительного фрагмента.	39

**Гершом Шолем**  
**От Берлина до Иерусалима.**  
**Воспоминания о моей юности**

© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1977

© ООО «Издательство Грюндриссе», издание на русском языке, 2023

## От издательства

Автор этой книги Гершом (Герхард) Шолем (1897–1982) занимает особое место в мире еврейской мысли. Уникальность его, по слову Мартина Бубера, определяется тем, что он фактически единолично создал академическую область, которая – как мы теперь видим – включает исследование и анализ каббалистической литературы в её историческом развитии, феноменологию религиозного мистицизма, духовную и политическую проблематику сионизма и в целом иудейской цивилизации.

Настоящее издание воспроизводит на русском языке итоговую версию автобиографии, вышедшую в 1997 году – к 100-летию со дня рождения Г. Шолема.

История этого сложноустроенного текста отражает несколько его радикальных изменений – как в содержательном, так и в языковом плане. Будучи уже известным учёным, Г. Шолем в 80-летнем возрасте написал на немецком языке воспоминания о своём взрослении и ключевых решениях той поры – покинуть привычную среду ассимилированного немецкого еврейства и, примкнув к сионистскому лагерю, иммигрировать в Эрец-Исраэль и посвятить себя изучению иудаизма. Книга (первое издание вышло в 1977 году в издательстве “Suhrkamp”) была обращена именно к немецкому читателю. Яркое и интеллектуально насыщенное жизнеописание участника главных дискуссий, которые кипели в Германии в начале XX века, а потом переместились вместе с её автором в Палестину времён Британского мандата, вызвала у евреев Израиля и Германии живейший интерес. Мартин Бубер, Шмуль Агнон, Залман Шазар, Хуго Бергман, Хаим Вейцман – вот лишь очень немногие из тех, с кем Шолему довелось тесно взаимодействовать уже в молодые годы, в его немецкий период.

Шолем решил выпустить свою книгу и в Израиле, на этот раз на иврите, расширив текст и сместив в нём акценты, с учётом интересов будущей аудитории. В новом варианте сказались отзывы читателей на первоначальный текст, была скорректирована сама перспектива повествования. Многие смысловые моменты иудейского и сионистского толка, интеллектуальные судьбы еврейских деятелей, которые Шолем не счёл нужным включить в раннюю версию книги, теперь нашли в ней своё место. Расширенная версия воспоминаний вышла в свет незадолго до смерти автора, в 1981/82 году.

В 1997 году издательство “Suhrkamp” выпустило последнюю авторскую версию мемуаров, дополнив первое издание 1977 года вставками, переведёнными с иврита. С этого текста и сделан перевод книги, которую читатель держит в руках.

Новое немецкое издание сделало различимыми исходный текст и более поздние вставки и исправления. Все изменения, появившиеся в версии на иврите, в издании 1997 года набраны курсивом (иногда курсив распространяется на несколько страниц), а слова и предложения, скорректированные автором в изначальном немецком тексте, воспроизводятся в квадратных скобках.

Мы отказались от подобного деления текста: сугубо «археологический» аспект книги давно отошёл на задний план. Безусловно, с особым вниманием воспоминания будут читать те, кому важны история немецкого еврейства и история Израиля. Но не только. Проза Шолема, сопровождаемая меткими наблюдениями, погружает читателя в атмосферу интеллектуальных битв и напряжённой мысли, не утративших актуальности и сегодня. В живой галерее созданных Шолем портретов нашли место и фигуры философов, политиков, писателей, и яркие женские образы, среди которых исключительное место занимает мать автора.

Воспоминания о жизни молодого человека эпохи Веймарской Германии, который уже в ранние 1920-е годы почувствовал приближение Третьего рейха, иммигрировал в Подмандатную Палестину и создал практически новую науку в новом университете нового государства,

будут важны всем, кого интересует становление личности и проблема выбора пути в эпоху социальных потрясений.

*Памяти моего брата Вернера, рождённого в декабре 1895 года в Берлине и убитого в июне 1940 в Бухенвальде.*

# I

## Происхождение, детство (1897–1910)

Принимаясь записывать некоторые воспоминания о своей юности, завершающиеся 1925 годом, когда я вступил в должность доцента тогда же открытого Еврейского университета<sup>1</sup>, я, разумеется, понимал, что в подобных воспоминаниях, вышедших из-под пера урождённых берлинцев, недостатка не имеется, хотя сам я ничего в таком роде не читал. Мой случай, однако, отличается тем, что я описываю жизненный путь молодого человека, приведший его из Берлина, каким он был в моём детстве и юности, в Иерусалим и Израиль. Мне самому этот путь представляется необыкновенно прямым, обставленным абсолютно ясными дорожными указателями, другим же людям, включая мою собственную семью, он кажется непостижимым, чтобы не сказать прискорбным.

Я родился в Берлине в еврейской семье, которая вплоть до двадцатых годов прошлого столетия проживала в Глогау («Большой Глогау», Нижняя Силезия) и примерно 160 лет назад частично переехала в Берлин<sup>2</sup>. Собственное имя Шолем, которое у ашкеназских евреев было весьма широко распространено, в качестве фамильного имени встречается чрезвычайно редко. За свою жизнь я встретил лишь две семьи Шолемов, не связанных с нами непосредственным родством. Одна из них была родом из Верхней Силезии и жила, как и мы, в Берлине, другая происходила из маленькой деревушки в Рейнланд-Пфальце, по которому, а также по Саару, впоследствии расселилась – в городах Нойштадт, Кайзерслаутерн и Санкт-Ингберт.

---

<sup>1</sup> Первый камень будущего Еврейского университета в Иерусалиме на горе Скопус был заложен летом 1918 г., но открыть университет удалось лишь в 1925 г. Начало работы Еврейского университета было положено тремя небольшими научно-исследовательскими институтами: по иудаике, химии и микробиологии. Преподавание велось на иврите. В 1925 г. университету была передана Еврейская национальная библиотека (её ядром послужила основанная в 1892 г. библиотека «Бней-Брит», а в 1895 г. фонд значительно пополнился благодаря библиотеке И. Хазановича – об этом Шолем пишет в посл. главе, см. с. 347, 348). Библиотека получила название «Еврейская национальная и университетская библиотека» (в наст. время – Национальная библиотека Израиля; до 1929 г. она оставалась на улице Бней-Брит, затем переехала в новый корпус университета). В 1923–1925 гг. Шолем возглавлял отдел евр. книги Еврейской национальной библиотеки, а с 1925 г. начал читать в университете курс каббалы и евр. мистики.

<sup>2</sup> То есть в кон. 1820-х – нач. 1830-х гг.





Бульвар Унтер-ден-Линден. Берлин. 1903

Когда в 1812 году «Эдиктом о гражданском положении евреев» было среди прочего установлено, что все евреи Пруссии должны обзавестись постоянными фамильными именами, с тем чтобы избежать смены имён в новых поколениях и тем внести порядок в ведение матрикул, мой прапрадед (как передаёт семейное предание со стороны отца) был спрошен, каким он видит своё будущее имя. Как рассказывают, он не вполне понял вопрос и ответил: «Шолем», что служащий и занёс в список как фамилию, между тем это было его личное имя, так что с того времени он стал зваться Шолем Шолем. Так, однако, гласит легенда. В других документах я нашёл его упоминание как Шолема Элиаса, что следует понимать как Шолем, сын Элиаса. Это соответствует версии, с которой, основываясь на подлинных документах, меня познакомил историк д-р Дов Бриллинг в день моего 80-летия. Шолем Элиас умер в 1809 году, за несколько лет до выпуска Эдикта. После этого его вдова Циппора, многодетная мать, была вызвана в городскую управу, где с ней была проведена беседа, и она заявила, что желает называться по имени своего покойного супруга, откуда и пошла наша фамилия.

Когда я был ребёнком, в нашей гостиной висел живописный портрет этой самой Циппоры Шолем, бабки моего деда, написанный где-то между 1821 и 1831 годами и являющий отчётливое сходство со всеми знакомыми мне Шолемами. Этот портрет ещё и сегодня висит в квартире

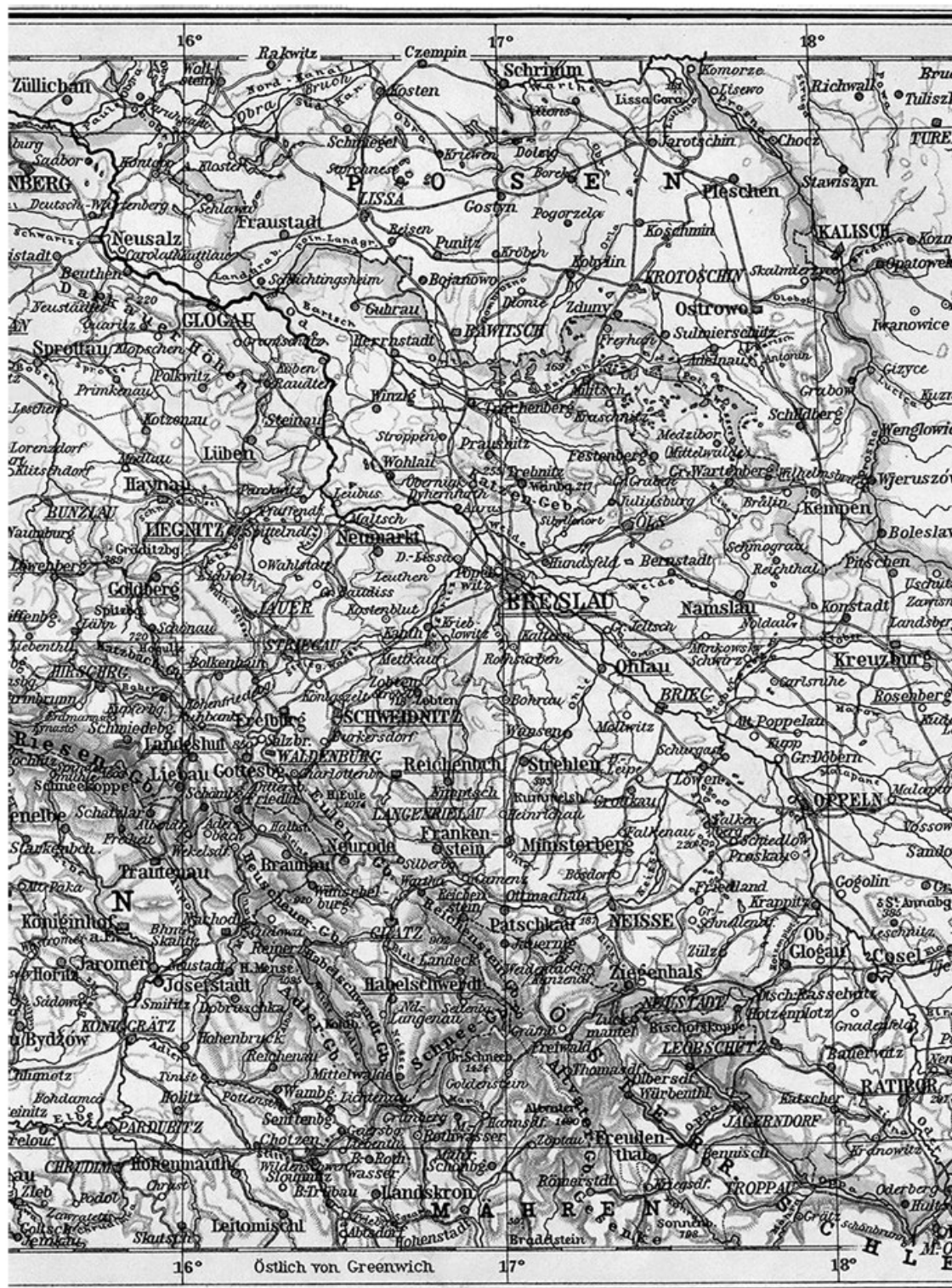
моего старшего брата в Сиднее<sup>3</sup>. По семейному преданию, он был создан одним из наших родственников, участником прусской войны с Наполеоном («Войны за независимость»). Циппора восседает там как настоящий матриарх еврейского рода. В тогдашних бюргерских квартирах большая проходная комната, служившая главным образом столовой, именовалась «берлинской комнатой», и в этой комнате висели фотографии деда и бабки, также прадеда и прабабки, а рядом – групповая фотография: моя мать с подругами. Подпись под ней сегодня выглядит странно: «Объединение незамужних израильтянок, Шарлоттенбург, 1888». В то время над этой формулировкой никто не смеялся. Большинство тех молодых женщин долго оставались в дружеском окружении моей матери. Когда в девятностые годы последняя из них вышла замуж, их Объединение естественным образом распалось.

В конце 1897 года, когда я появился на свет, – это произошло в районе старого Берлина на набережной Шпрее Фридрихсграт, на небольшом расстоянии к востоку от площади Шпиттельмаркт (теперь там, на месте разрушенных бомбардировкой домов, устроен сквер с кустами и скамейками), – к тому времени уже три поколения моей семьи постоянно жили в Берлине. Здесь же в 1845 году, вскоре после Освободительной войны, умер мой прадед, последовав за своим старшим братом.

Наша семья проделала длинный путь от традиционного ортодоксально-иудейского образа жизни, характерного для силезских и познанских евреев, составлявших преобладающее большинство берлинского еврейства, до полнейшей ассимиляции в окружающей среде. В XVIII веке Глогау населяла крупнейшая еврейская община Силезии, а мои предки по отцовской линии происходили из маленьких городков, как Бытом-Оджаньски, Аурас, Кёбен. Этому не следует удивляться, поскольку евреям не позволялось жить в Бреслау до выхода вышеупомянутого Эдикта 1812 года, который впервые предоставил евреям, жившим ещё до разделов Польши в провинциях, принадлежавших Пруссии, известные гражданские права, и главное – право свободного передвижения, важнейшее для хозяйственной деятельности. Исключение составляли лишь обладатели дарованной королём Пруссии так называемой генеральной привилегии, то есть несколько богатых семейств (с их, однако, весьма многочисленной еврейской прислугой), которые особо интенсивно и успешно приобщились к меркантилистской политике Фридриха Великого – активность, охотно поощряемая прусскими властями. Масса евреев жила оседло в сельской местности и маленьких городах, откуда в последующих поколениях многие из них устремились в Бреслау и Берлин.

---

<sup>3</sup> В семье Артура и Бетти Шолем было 4 сына: Райнхольд (р. 1891), Эрих (р. 1893), Вернер (р. 1895) и Герхард (Гершом; р. 1897). Старший, Рейнхард, после Второй мировой войны оказался в Австралии, где и прожил последние 40 лет своей жизни, до 1985 г.



Фрагмент карты Силезии. 1905

Предки моей матери, Хирши и Пфлаумы, происходят из местечка Реч, что расположено в крайнем северо-восточном углу Ноймарка, а также из больших еврейских общин Равич и Лешно Познанской провинции. Мать, впрочем, никогда не называла эту область Познанской провинцией, но исключительно «Великим герцогством» – памятуя о специальных постановлениях, которые вплоть до 1848 года – времени юности моих родителей – ещё охватывали всех евреев Великого герцогства Варшавского, что проживали в его западных частях. По поста-

новлению Венского конгресса (1815–1816) эти части Варшавского герцогства, учреждённого Наполеоном, были переданы Пруссии.

И таковы же были корни всех семей, с которыми общались или породнились мои родители и их близкие. Бабка моего отца, из Эстер Холлендер сделавшаяся Эрнестиной Шолем, после ранней смерти мужа стала хозяйкой еврейского ресторанчика на Клостерштрассе в старом Берлине, недалеко от знаменитой гимназии – заведения, именуемого в ту пору «кошерный кабачок». Мой отец, когда заходил разговор на эту тему, любил рассказывать, что все тести его братьев в молодые годы заходили подкрепиться в этот кабачок его бабки на возвратном пути из Познани или Силезии, и так-то и завязывались семейные знакомства, главное же – там зародилась дружба между родителями моей матери. В детстве наш отец привёл нас как-то раз к дому, где жила бабушка и готовила еду для ресторана. От всего этого кошерного хозяйства до нас не дошло ничего. Среди людей, окружавших меня в детстве, только лишь старый неродной дядюшка моего отца, живший в северной части города, с тремя своими незамужними дочерьми до самой смерти строго соблюдал кошерный режим питания. Я ещё в 1910 году, на его восьмидесятилетие, расспрашивал его о наших предках.

Семейство моего отца в продолжение трёх поколений, с 1861 по 1938 год, владело сначала одной, а потом и двумя типографскими мастерскими в Берлине. У меня до сих пор хранится экзаменационная работа моего деда на звание подмастерья, которую он напечатал в 1858 году после года обучения как ученика и помощника мастера в разных типографиях. Это вышедшие в 1859 году «Поэтические творения» Фридриха Хаймбертсона Хинце, соотечественника Томаса Манна, ныне совершенно забытого.

Мой дядя имеет иудейский молитвенник, также напечатанный дедом. Дед родился в Берлине в 1833 году и получил строгое иудейское воспитание сначала в родительском доме, потом в детском приюте еврейской общины. В самой его личности воплощён переход иудеев в немецкую цивилизацию. Назвали его, как то было принято в еврейских семьях, по имени покойного деда, Шолем Шолем. Канцелярист, однако, отказался вписать это имя в свидетельство о рождении (оригинал которого у меня сохранился), и после долгих препирательств сошлись на, будем считать, онемеченной форме имени: Сольм, – которой, однако, никто не пользовался. В пятидесятые годы прадед, сделавшись пылким вагнерианцем, стал называться Зигфридом Шолемом, и под этим именем в регистре торговых фирм указана его типография. Его надгробие, и теперь оставшееся в целости на еврейском кладбище Вайсензее в Берлине, несёт на себе надпись по-еврейски (в безупречной орфографии!):

«Шолем Шолем», на передней же стороне выведено по-немецки: Зигфрид. На могильном камне моего отца (1925) не было уже ни одной еврейской буквы.

Мой отец Артур, который родился в Берлине в 1863 году, также проделал долгий путь ученичества помощником и подмастерьем в ещё более крупной типографии и в ранние 1880-е проработал год печатником в Лондоне, где жил у своего дяди Адольфа. Одна ветвь нашей семьи в 1860 году переехала в Лондон, и в моём детстве мы ещё сохраняли с ними связь. (Один из сыновей дяди моего отца, Виктор Ш., уехал в Нью-Йорк. Когда в 1938 году я впервые там оказался и мой доклад был опубликован в “New York Times”, мне позвонили его сыновья и спросили, не сын ли я «дяди Артура», о котором им рассказывал их покойный отец. Я посетил их в Бруклине, и каково же было моё удивление, когда я увидел в их гостиной на стене большую фотографию моего отца – но в действительности это был их отец!) В 1883 году молодой Артур Шолем вернулся, имея на лице волнистую окладистую бороду, которая позднее, согласно новой моде, уступила место по-вильгельмовски закрученным усам. Вплоть до начала Первой мировой войны он имел обыкновение по воскресеньям заходить в кафе на Гертгауденбрюкке, где два часа читал “Manchester Guardian”, которая соответствовала его мировоззрению, во всяком случае не меньше, чем “Berliner Tageblatt”, принятая у нас. По возвращении из

Англии он вступил в отцовское дело, о процветании которого заботливо пёкся. Отец и дед, оба до крайности вспыльчивые, во всём остальном абсолютно рознились и плоховато ладили друг с другом. Вскоре после своей женитьбы (1890), уже в 1892 году отец обеспечил себе независимое существование, заведя собственное дело, поначалу маленькое и пробивавшее себе дорогу с большим трудом. А после сорока у отца открылся артериосклероз коронарного сосуда сердца, что требовало ежегодного длительного лечения на курорте Бад Наухайм, и в эти периоды моя мать, которая изначально отвечала за бухгалтерию и имела от него доверенность, сама вела хозяйство. Таким образом, в мои детские годы приходилось всё время помнить о болезни отца, и нас, детей, приучали поменьше шуметь. Так и сложилось, что отношения наши с отцом были не слишком близкими, отец же находил удовлетворение в своих профессиональных занятиях и разбирательстве со страховой больничной кассой печатной отрасли, чему он на протяжении двадцати пяти лет отдавал львиную долю свободного времени. Роста он был невысокого, близорук, коренастого сложения, совершенно облысел к сорока годам, и эту черту мы все от него унаследовали.



Артур Шолем, отец автора книги. 1910-е

Моя мать тоже была совсем невысокого роста, и своим собственным длинным ростом, без малого метр восемьдесят, я обязан линии Хиршей. Мать также родилась в Берлине, но в детстве несколько лет провела в маленьких городках вроде Зезена, недалеко от Гарца, в другой раз – в Глубчице в Силезии, где её отец работал в двух еврейских заведениях, управляю-

щим и директором сиротского дома. Позднее он с семьёй вернулся в Берлин и снова занялся коммерцией. У него сохранялся живой интерес к иудаизму и в восьмидесятые годы прошлого века он стал одним из основателей маленькой либеральной синагоги на улице Шульштрассе в Шарлоттенбурге<sup>4</sup>, месте его тогдашнего жительства. Поскольку оба деда умерли, когда я не достиг и 6 лет, я запомнил только их лица, а бабушек своих, умерших в мои 10 и 11 лет, я обязан был посещать каждые две недели, и потому до сих пор прекрасно помню обеих старушек, оказавших на меня безмерное влияние.



Бетти Шолем, мать автора книги. 1900-е

Бабушка Амалия Шолем жила совсем неподалёку от нас и имела репутацию женщины энергичной и решительной. Ещё при жизни своего мужа, человека видного, но бесхарактерного, она была полновластной хозяйкой и в домашнем, и в его коммерческом хозяйстве. До самой старости она была крайне бережлива. Перед каждым визитом к ней нам строго внушали ни в коем случае не есть сладостей и фруктов, сколько бы нам их ни предлагали, так как все эти

---

<sup>4</sup> Имеется в виду первая синагога в Шарлоттенбурге. Синагога была построена средствами евр. общины на месте, который предоставил Герман Хирш, снеся принадлежавший ему дом. Открыта в 1890 г. Синагога Шарлоттенбурга была реформистской. Разрушена во время погромов 1938 г. Сейчас на этом месте установлена мемориальная доска.

угощения, принесённые её четырьмя сыновьями, бывавшими у бабушки в гостях, хранились у неё так долго, что успевали заплесневеть. Сам я с детства был завзятым сладёной и хорошо помню муки разочарования, которые испытывал при виде подёрнутых плесенью шоколадок. Утешало то, что она всякий раз при расставании дарила мне пять, а то и десять пфеннигов, которые я тут же использовал по назначению в близлежащей кондитерской лавке, покупая себе порцию мороженого, обложенную вафлями, или шоколадку с маком. Мать частенько рассказывала мне, что её свекровь не могла дождаться от неё внучки, которую хотела назвать Филиппиной в память своей покойной матери. Когда же моя мама в четвёртый раз родила ей внука, тёща приняла это так близко к сердцу, что на несколько месяцев перестала с ней разговаривать. В её комнате, а потом у дяди Теобальда стояли чудесные напольные часы с маятником работы её отца Давида Шлезингера, построенные им в 1810 году для получения звания подмастерья.

Часы били каждые четверть часа и находились у них в большом почёте. Они и сегодня тикают в Тивоне недалеко от Хайфы, в квартире моей кузины Дины. Также и этот мой предок, дядя Теобальд, родившийся в познанском городке Бояново, на старости лет перебрался в Берлин.

Все мои деды и бабки имели множество братьев и сестёр, из которых большинство тоже жили в Берлине. Дядя моей матери по линии отца стал по милости императора Фридриха III даже придворным фотографом. Отец нескольких сыновей, он положил начало самой богатой ветви нашего семейства. Мать состояла с этими своими кузенами и их сёстрами в дружеских, а порой и в очень тесных отношениях, а вот у отца манерное поведение этих родственников вызывало отторжение, и он крайне редко сопровождал жену во время её визитов к ним. Среди моих сверстников у нас была только одна необыкновенная красавица, кузина Марго Пфлаум, и это единственное, чем мы могли похвастаться в данном отношении.

Но в целом весь наш семейный круг принадлежал к небольшому слою мелкой и средней еврейской буржуазии, который в середине прошлого столетия упорным трудом поднялся над своим низким и скромным статусом, нередко добиваясь благополучия, хотя богатства – крайне редко. И вращались они почти исключительно в своём кругу. Печально знаменитая презрительная фраза Трейчке о наводнивших Берлин пробивных молодчиках из Познани, торговцах брюками, приложима и к людям, которых я застал богатыми стариками, владельцами фабрик по производству ванн или колбасных кишок. Некоторые из моих тёток появились на свет именно в таких семьях. В поколении моих родителей тот круг, где я вырос, лишь в редких случаях давал дорогу к академическим профессиям. Младший-то брат моего отца уже был отправлен в гимназию и с большими лишениями выучился медицине, а вот его старшему брату, проявлявшему страстный интерес к вопросам этнологии и изучению Востока, пришлось отказаться от своих намерений и влиться в дело деда, которое он прекрасно усовершенствовал. Но брат и сестра моей матери всё же смогли выучиться, хотя и на гроши. Сестра стала первой женщиной-врачом в Берлине, брат – химиком и юристом по патентному праву. Единственный из родственников моего отца, снискавший известность в Берлине и вписавший своё имя в его театральную историю, был Феликс Холлендер, завлит в театре Макса Рейнхардта, романист, печатавшийся в издательстве С. Фишера. Но по неизвестным мне причинам родственные связи с ним не поддерживались.

Мой отец и оба его брата в юности увлекались спортивной гимнастикой, что было типично для тогдашнего мелкобуржуазного слоя, который до восьмидесятого года имел ярко выраженный либеральный характер, а после 1890 стал всё больше вдаваться в антисемитизм. В книжном шкафу у моих родителей стояла книжечка, выпущенная моим отцом в 1887 году, «Всеобщее пособие для немецких гимнастов». Мы были типичным либерально-буржуазным семейством, в котором, как тогда говорили, ассимиляция в немецкой среде дошла до крайней степени. В нашей семье оставалось совсем мало осязаемых пережитков иудейства, как, скажем, еврейские речевые обороты, которых отец избегал и нам запрещал их употреблять, но мать

охотно использовала, особенно когда хотела подчеркнуть что-то особо важное. Если же речь шла о чём-то совершенно незначительном, она неизменно прибегала к привезённым из Равича в Берлин выражениям своей матери. Так, она могла сказать: “*Nat sich die Kose bemeikelt*”, – имея в виду что-то вроде: «А, да это коза обделалась», – то есть: «Да брось ты». Так один из моих дядёв, которого антисемитизм спортивной молодёжи превратил в сиониста из числа ранних, с открытым вызовом употреблял подобные обороты на общесемейных сходках к вящему неудовольствию отца. Самым ярким проявлением этого остаточного идиша, не имевшим соответствия в немецком языке, было, несомненно, выражение «гойим нахес» (которое обычно заменяли сокращением Г. Н.), обозначавшее средний уровень удовольствия, что-то вроде «для гоев сойдёт<sup>5</sup>». Даже мой отец не мог подобрать немецкого эквивалента этому выражению, хотя сам никогда его не употреблял. Особо яркое выражение сожаления, словцо “*nebbich*”<sup>6</sup>, вошло в мой лексикон, после того как однажды я вместе с матерью побывал в гостях у её кузины, и тётушка отозвалась обо мне: «Герчик такой вежливый мальчик, бедняжка». Такие слова забываются не сразу.

---

<sup>5</sup> Нееврейские радости (*идиши*); слово «гой» в данном контексте обозначает нееврея.

<sup>6</sup> Бедняга, сердешный (*идиши*).





Большая (Новая) синагога. Берлин. 1880

Из еврейских ритуалов мы блюли, как семейные праздники, лишь вечерние пятничные встречи и Седер Песах, на который все Шолемы собирались сначала у бабушки, позднее – поочерёдно у моего отца и у какого-то из его братьев. При этом мы распевали «киддуш», еврейское субботнее благословение, на традиционную мелодию, знакомую ещё по дому деда, но слова мы понимали только наполовину. Всё это, однако, никому не мешало прикуривать сигарету или сигару от субботних свечей. А поскольку курение в шабат подлежало в иудаизме общеизвестному запрету, в этом случае оно выглядело откровенным глумлением. В пасхальную неделю хлеб и маца содержались в двух рядом поставленных корзинах, и для нас, детей, маца с мёдом была заветным лакомством. По большим праздникам и даже таким, как самый

великий еврейский праздник, Йом-Кипур, в который, по его исключительному значению, было предписано соблюдать пост, отец отправлялся в свою контору, и о посте не могло быть и речи. Мать брала с собой в синагогу своих родственников, из тех, кто строго держал пост, сама же она не постилась, но по крайней мере жёны моих дядёв и постились, и посещали синагогу. Злые языки в годы перед Первой мировой войной поговаривали, что в некоем известном ресторане, расположенном рядом с либеральной Большой синагогой (Ораниенбургер штрассе, угол Артиллериештрассе)<sup>7</sup>, имевшей у себя орган, в Йом-Кипур торжественно наряженных гостей встречал старший кельнер словами: «Для господ, держащих пост, накрыт стол в особой комнате». С другой стороны, мой отец имел обыкновение один или два раза в году за обедом вознести хвалу еврейской миссии, которая, по его словам, состояла в том, что мы возвестили миру чистый монотеизм и чистую, основанную на разуме мораль. Крещение выражает безволие и низкопоклонство. Когда в 1920 году была основана газетка еврейской общины в Берлине, неизвестно зачем доставляемая всем евреям, имена всех покинувших иудаизм, согласно действовавшим общинным законам, стали публиковаться участковым судом на её последней странице. Делалось это с целью освободить ушедших от общинного налога. Так вот, эта колонка, единственная во всей газете, нередко становилась предметом всеобщего самого пристального чтения. Я хорошо помню несколько случаев, тогда широко прошумевших, когда перечисленные персоны оказались весьма этим недовольны и безуспешно пытались через суд воспрепятствовать публикации своих имён.

Мои родители в детстве ещё учились читать по-еврейски, и когда я только начал сам учить язык и посещать синагогу, мать, которая к тому времени всё забыла, как-то раз поразила меня тем, что в ответ на какое-то моё пренебрежительное замечание насчёт её языковых познаний смогла абсолютно безошибочно и без всякой подготовки продекламировать мне «Шма Израэль», главную еврейскую молитву, включающую шесть стихов из Второзакония, — не имея, впрочем, ни малейшего представления, о чём там речь. В раннем детстве отец по еврейскому обычаю научил её читать эту молитву на сон грядущий, и через сорок лет она по-прежнему легко слетала с её языка.

В мои девять лет, то есть в 1906 году, мы переехали с Фридрихсграхт в более просторную квартиру на Нойе Грюнштрассе, 26, на другом берегу Шпрее, в нескольких минутах от прежнего жилища. Прямо напротив нашей квартиры был вход в здание «Прихода св. Петра», окружённое довольно большим садом. В 1946 году, когда большинство домов на этой улице были разрушены бомбардировкой, я ещё нашёл этот вход с сохранившейся на нём табличкой. Рядом находился дом типографии Отто фон Холтена с внушительным фасадом и чрезвычайно изящной табличкой. Так я впервые, и совершенно того не сознавая, соприкоснулся с тем местом, где были напечатаны творения Стефана Георге и авторов круга «Листков искусства». Когда в 1913–1914 годы прочитал стихи Георге, иные из которых и теперь производят на меня глубокое впечатление, я стал разглядывать этот дом с особым интересом. Тогда я, прогуливаясь по Моренштрассе, заметил на витрине знакомой букинистической лавки Гзеллиуса первое публичное издание «Года души», которое чем-то — возможно, своим названием — привлекло моё внимание. Я тут же его купил, и это стало моей первой встречей с поэзией Стефана Георге. Потом я купил ещё несколько его книг, одну из них, «Звезда союза», — сразу по выходе в начале 1914 года. Эта книга, когда я перечитал её восемью годами позже, за исключением нескольких чудесных стихов привела меня в такую ярость, что я выкорчевал её из моей библиотеки и

---

<sup>7</sup> Большая синагога (или второе название, в противовес Старой синагоге (см. примеч. 24) — Новая синагога) была построена в сер. XIX в., так как евр. община Берлина неуклонно росла, гл. образом благодаря иммигрантам, и уже не умещалась в Старой синагоге. В здании проводились публичные концерты. Новой синагоге удалось пережить Хрустальную ночь, но во время Второй мировой войны она понесла существенные утраты. В начале 1990-х гг. восстановлена.

подарил своему кузену Хайнцу Пфлауму, очень симпатизировавшему школе Георге. Однако многое из «Года души», «Ковра жизни» и «Седьмого кольца» навсегда осталось со мной.

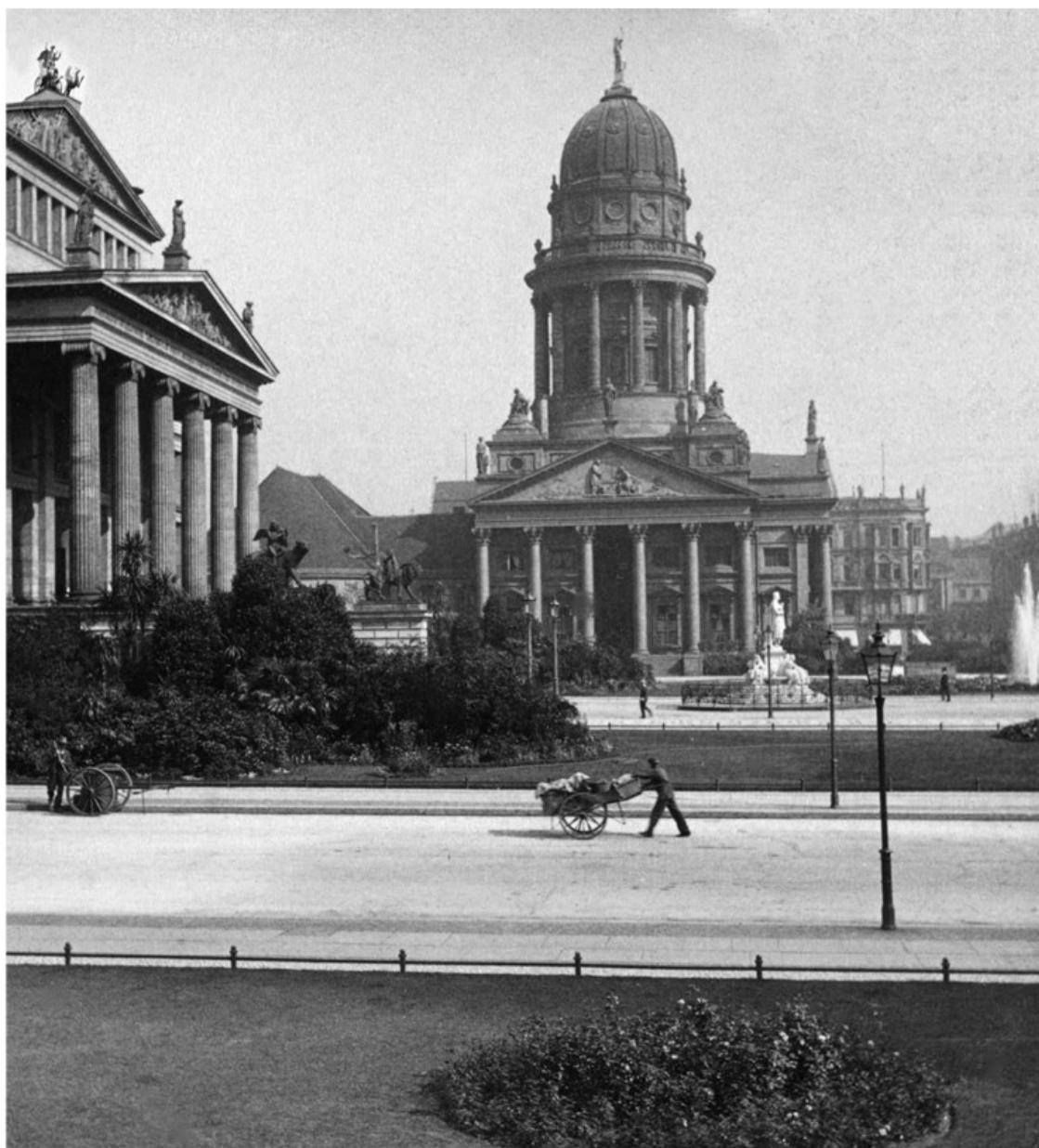


Титульный лист поэтического сборника Стефана Георге «Год души». Берлин, 1897

В нашей новой квартире, где я в итоге провёл большую часть моей берлинской жизни, я, разумеется, уже не мог развлекаться плеванием вишнёвых косточек через всю набережную прямоком в Шпрее. В остальном же переезд не принёс особых изменений в окружающую нас городскую среду. Моя школа, точнее, Луизенштадтская реальная гимназия на Себастианштрассе, где я в течение следующих девяти лет еженедельно проводил по четыре часа за изучением латинского языка, осталась прежней. Гулять я ходил неподалёку, в Бранденбургский парк, где в то время как раз комплектовался Бранденбургский музей, и там вместе со своими ровесниками играл в шарики. Напротив, на Инзельштрассе располагался не то дровяной, не то угольный склад какой-то фирмы, и на её дощатом заборе можно было прочесть разные надписи вроде «Густав дурак» или что-то подобное. Берлинский диалект в этом квартале оставался ещё абсолютно нетронутым и влёк меня тем сильнее, что использовать его за нашим семейным столом строго запрещалось. Но я сохранил Берлинский выговор во всех превратностях своей жизни.

Часто, когда игра надоедала, я проходил короткое расстояние от парка до набережной Шпрее, того места, что напротив станции метро Яновицбрюкке. Отсюда отправлялся экскурсионный пароходик в сторону восточных окраин Берлина, таких как Грюнау. Но меня привлекало не это, а возможность подолгу разглядывать поезда дальнего следования, которые

на довольно медленной скорости проезжали мимо станции, но таблички на их вагонах я, при всём моём хорошем зрении, никогда не мог разобрать, глядя через Шпрее. Меня околдовывали дикие географические названия, которые я потом, уже дома разыскивал в нашем большом семейном атласе Андреэ<sup>8</sup>. Конечные станции зачастую выделялись более крупными буквами, чем промежуточные, поэтому такие названия, как «Хук-ванХолланд», «Эйдткунен» и порой встречавшийся на скорых поездах «Освенцим» стали мне хорошо знакомы, при том что я тогда не имел понятия, что за этим чуждым для уха именем пограничной станции между Верхней Силезией и Галицией скрывается не что иное, как Аушвиц. Я не мог насытиться видом этих поездов и этих названий, которые олицетворяли для меня магию далёких стран. Мне было тогда десять или одиннадцать лет.

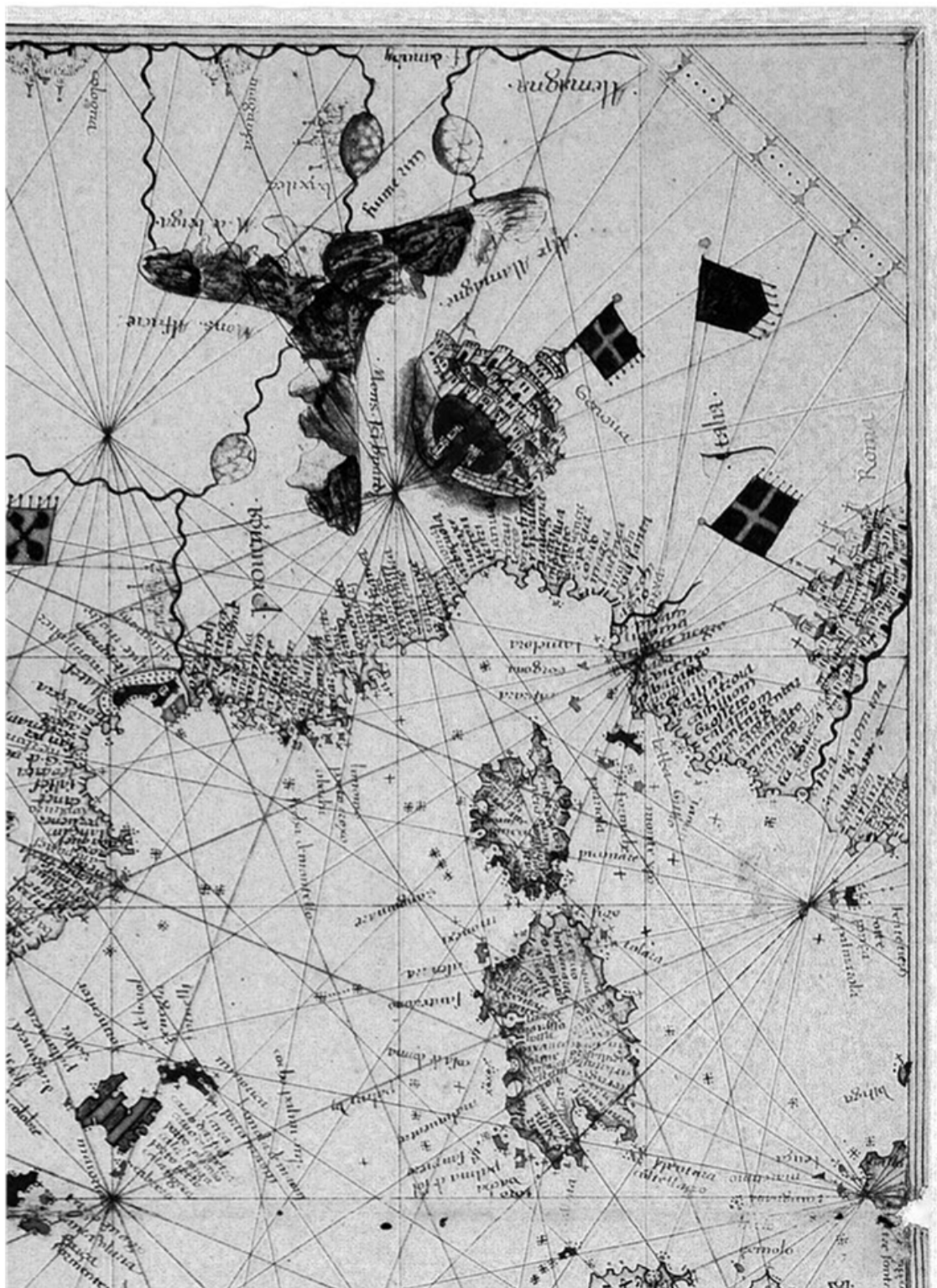


Памятник Шиллеру на фоне Французского собора, слева – Королевский театр. Берлин, Шиллерплац. 1910-е

---

<sup>8</sup> Автор вспоминает факсимильное издание атласа Андреэ Бенинкаса – картографический шедевр конца XV в., который включал 5 крупномасштабных карт, выполненных с необыкновенной тщательностью.

Обедали мы в половине второго, и отец настаивал, чтобы никто не опаздывал. Школа заканчивалась в час, и в летние месяцы у меня оставалось пять-десять минут, чтобы успеть заскочить в кондитерскую лавку, где за пять пфеннигов я покупал порцию мороженого, проложенную между двумя вафлями. Отцу, заботясь о его здоровье, часто подавали отдельные блюда, и, в зависимости от их содержимого, он один выпивал стакан красного или белого вина. Денежные дела за столом никогда не обсуждались. Этой темы просто не существовало. Никому не приходило в голову завести речь о типографии или о нашем финансовом положении. Мы лишь знали, сколько нам полагается карманных денег на две недели и сколько нам дадут на школьные экскурсии. Один-единственный раз отец поразил нас своим замечанием, что прошедший год принёс хорошую прибыль. И только с началом войны, в 1914 году родители стали обсуждать деловые вопросы в нашем присутствии, но к тому времени мы стали старше и изрядно повзрослели.



Карта из факсимильного издания атласа Андреэ Бенинкаса. Фрагмент



Театр Шиллера. Берлин, угол Грольман-штрассе и Бисмарк-штрассе.  
Ок. 1910. Почтовая открытка





Фрици Массари. 1916

В мои одиннадцать или двенадцать лет мать впервые привела меня в театр Шиллера, чтобы по обычаю, принятому в еврейских семьях, показать мне какую-нибудь из шиллеровских пьес. В моём случае это был «Вильгельм Телль». Я живо помню празднование шиллеровского юбилея в 1909 году в Немецком театре, где Йозеф Кайнц в переполненном зале даже не декламировал, а «исполнял» «Песнь о колоколе». Родители позаботились о том, чтобы мы все своими глазами увидели это торжество, надеясь, что оно произведёт на нас сильное впечатле-



ние. На меня, однако, это представление не оказало сильного эффекта, я и вообще остался в высшей степени равнодушен к театру.

Я прочёл немало театральных драм (например, всего Ибсена и большинство пьес Стринберга), но никогда не испытывал потребности увидеть их на сцене. Моя мать, которая буквально бредила театром, иногда отправляла меня в Шиллер-Театр-Ост на Вальднерштрассе, где шли пьесы Шиллера, Гёте и Клейста. Пару раз я побывал в театре Талия, в минутах ходьбы от нашего дома, в котором давали преимущественно оперетты. Там за несколько лет до начала Первой мировой войны я увидел восходящую звезду Фрици Массари в одной оперетте, единственной, что я посетил в Германии до моей эмиграции. Но это не значит, что я совсем не был знаком с популярными опереттами, которыми в то время все увлекались. Они помимо моей воли вливались мне в уши из граммофонов, с оркестровой музыкой на катке в Ботаническом саду на Потсдамер Штрассе или в ледовом дворце рядом с Байрише плац. Моя память отличается невероятной восприимчивостью к вещам излишним (до сих пор мне, к сожалению, свойственной), так что я и теперь могу мурлыкать про себя песни времён гимнастического клуба, которые мы распевали, маршируя на занятиях. К несчастью, мне так и не довелось встретить ангела, который заменил бы в моей памяти все эти и им подобные запасы на нечто более насущное. Среди множества магических рецептов, которые я изучил в своей жизни, я не нашёл ни одного, который помог бы мне совершить подобный обмен.



Байрише плац. Берлин, Западный Шёнеберг. 1910-е. Почтовая открытка

Прожив в Мюнхене, городе театров, два с половиной года, я, как ни трудно в это поверить, побывал в театре всего два раза. Зато в 1920 году я свёл там знакомство с великим режиссёром Эрихом Энгелем, который работал тогда в Каммершпиле. Но побудила меня к этому знакомству не любовь к театру, который оставлял меня равнодушным, а Роза Окун, русская еврейка из Гамбурга, близкая подруга моей будущей первой жены Эльзы Бурхардт. Энгель с первого взгляда страстно влюбился в эту девушку, излучавшую непобедимое очарование, и не оставлял её в течение двадцати лет вплоть до самой её смерти. Энгель, маленький и пухлый, с ярко выраженными еврейскими чертами, при том что из еврейских предков имел лишь одну бабушку, которой, правда, чрезвычайно гордился. Он живо интересовался всем, имею-

щим отношение к философии, мы с ним и тогда, и позже, когда я наезжал из Израиля в Берлин, вели долгие дружеские споры. В нацистские времена он очень бережно относился к Розе (которую всегда называл Соней). Она умерла от тяжёлой болезни.

Необычным явлением был маленький еврейский театрик братьев Херрнфельд, расположенный в пяти минутах от нашего дома. Оба брата, прекрасные артисты, впрочем, крещёные, круглый год представляли еврейские юморески для публики почти исключительно еврейской, – только она и могла оценить жаргон и интонации этих пьес, которые, как правило, держались в репертуаре очень подолгу. Однажды я повидал там некий образчик такого залежалого товара, успешную пьеску «Калабрийская партия», возмущившую моего отца, убеждённого, что подобные вещи лишь возбуждают антисемитизм – словно бы антисемитизм только братьев Херрнфельд и ждал.

Гораздо сильнее, чем театр, меня в эти предвоенные годы, главным образом, начиная с 1909-го, привлекал кинотеатр, находившийся на Коммандантенштрассе, в конце Нойе Грюнштрассе. Этот кинотеатр назывался тогда у публики «мерцалка». Но зрители не ожидали там какой-то единой твёрдо установленной программы: билеты разделялись по номерам соответственно разным программам и времени, которое человек был намерен там провести. К примеру, покупаешь билет с номерами 8–13, и как только объявят последний номер, 13, ты должен встать и выйти из зала. Фильмы, надо сказать, там шли бесконечно длинные; Аста Нильсен и Макс Линдер, фигуры которых до сих пор стоят у меня перед глазами, играли в криминальном или гротескном жанре, и экран при этом мерцал с такой силой, что у многих болели глаза. Всё было нацелено на то, чтобы вызвать у зрителей смех или ужас, и все движения – возможно, из-за уже тогда невообразимо устаревшей примитивной техники съёмки – выглядели чрезвычайно комично. Во время войны я практически перестал ходить в кино, и лишь в 1918–1919 годы, когда я жил в Берне, мы с кузиной Лони снова туда зачастили. В то время перед главным фильмом крутили короткометражки с Чарли Чаплином, всё больше привлекавшие публику. Когда я себя спрашиваю, какие наиболее значимые фильмы сохранились в моей памяти с юных лет, вспоминается лишь антинемецкий военный фильм «Четыре всадника апокалипсиса» и экспрессионистский шедевр «Кабинет доктора Калигари». Как ни равнодушно я отношусь к литературным произведениям экспрессионизма – к поэзии всё же лучше, чем к прозе, – этот фильм не перестаёт меня восхищать, и я неоднократно пересматривал его впоследствии.



Кадр из американского немого фильма «Четыре всадника апокалипсиса». Режиссёр Р. Ингрэм, 1921

Между мною и отцом с ранних лет пролегла полоса отчуждения, которая с годами лишь расширялась. Несравнимо бо2льшую роль в моей жизни играла моя мать Бетти. Каждый день в девять утра, когда я давно уже сидел в школе, она уходила в нашу типографию и возвращалась домой лишь пообедав и немного отдохнуть, а потом два-три раза в неделю опять шла работать ещё на два часа, так что за весь день мы виделись очень мало, – и всё же её присутствие в доме ощущалось очень остро. Между 1913 и 1917 годами, когда я оставался единственным ребёнком в семье<sup>9</sup>, она после обеда (за который отвечала кухарка, получавшая от неё по утрам меню на три блюда) позволяла мне себя «укладывать» (её словцо). Действие состояло в том, что она растягивалась на очень красивом шезлонге в спальне, я же укрывал её большим покрывалом из верблюжьей шерсти, которое до сих пор у меня сохранилось. Она доставала из ящика одну-две плитки шоколада и давала мне, я же вёл с ней долгую, минут на десять-пятнадцать, беседу, выкладывая перед ней все свои накопившиеся критические замечания.

Моя мать – а она не любила обращения «мама», предпочитая «мать», – до конца дней обладала великолепной стройностью фигуры и оставалась весьма элегантной. Она была при-рождённой журналисткой, выражалась в высшей степени метко и по существу, поэтому в эпоху, когда женщин к подобным профессиям не допускали, несомненно, упустила своё призвание, хотя могла бы с блеском быть принята в издательский дом Ульштайн. Она писала прекрасные письма, нередко большие статьи для литературного приложения газеты, и всегда каллиграфическим почерком. У меня хранится несколько связок её поздних писем в Иерусалим. Кроме того, она была неизменным поэтом нашей семьи и с великой лёгкостью плодила стихи и пьесы семейной тематики, которые мы, четверо братьев, разыгрывали по случаю разных свадеб и

---

<sup>9</sup> См. примеч. 3.

других семейных событий в период между 1903 и 1908 годами. Меня при этом крайне бесило, что я, как самый младший, почти всегда принуждён был представлять девиц, для чего меня наряжали в прециозные платья моей кузины Марго, практически моей ровесницы. Меня это чрезвычайно коробило. Мать также довольно много читала, по большей части романы и стихи, причём её интересы простирались от Шиллера до Рихарда Демеля, включая также Эмиля Верхарна, во многом прекрасно переведённого Стефаном Цвейгом. Георге и Рильке, по её признанию, были для неё слишком утончённы. Из её литературных талантов я извлёк для себя большую выгоду.



Братья Шолемы в восточных костюмах. Слева направо: Герхард (Гершом), Райнхольд, Эрих и Вернер. На свадьбе дяди Теобальда Шолема. Берлин. Сер. 1900-х

Многие темы, которые я получал для домашних сочинений в старших классах, вызывали у неё интерес, и если ей какая-то особо нравилась, она говорила: это я сама напишу. И она действительно великолепно выполняла задание. Весной 1914 года, когда я уже с головой был погружён в тематику иудаизма и всё своё свободное время посвящал изучению иврита,

нам задали тему для большого сочинения «Рейн, свидетель немецкой жизни», отведя для его написания четыре недели. Меня эта тема нимало не интересовала, зато мать пришла от неё в восторг. «Предоставь это мне», – сказала она. «Но ты должна будешь обязательно упомянуть еврейские гонения во время Первого крестового похода, избиение евреев в Майнце, Вормсе и Шпайере!» Возражений у неё это не вызвало, и она сочинила для меня потрясающий лирический монолог, в котором «Отец Рейн» описывает то, что происходило на его берегах, и заканчивает патетическим стихотворным пассажем (из Эрнста Вольцогена): «О, глас глубочайшей молитвы есть труд. / Кто всё понимает, и это поймут. / Его ты отыщешь в трудах». Я получил «за поэтическую форму» лучшую оценку и до сих пор храню эту памятную тетрадь. Учитель немецкого спросил тогда: «Где вы почерпнули эти чудесные стихи?»

У матери был счастливый темперамент и к тому же легко приспосабливаемый характер, что позволяло ей без особых затруднений находить себя в любом обществе и окружении. Поначалу это приводило к конфликтам между нами. Мне нередко доводилось бывать с нею вместе у кого-нибудь в гостях, и должен сказать, что она, недолго думая, в разных местах высказывала мнение, пусть и несовместимое с её прежними суждениями, но всегда угодное хозяевам дома. На мои упрёки, недостатка в которых, при моём-то формирующемся характере, никогда не было, она отвечала словами, которые до сих пор звучат у меня ушах: «Не упрекай меня, сынок». И лишь гораздо позже, когда разразилась череда конфликтов между мной и моим братом Вернером, и груз этих раздоров лёг больше на её плечи, чем на наши, я понял её главное желание: создать покой вокруг себя. Ради этого она шла на большие жертвы. Выше я сказал, что у неё был счастливый темперамент, однако я до сих пор так и не знаю, была ли она счастлива. Она страстно любила путешествовать, и поскольку наше семейство становилось год от года более состоятельным, могла позволить себе какую-нибудь поездку два, а то и три раза в год. Но путешествовала она всегда одна либо с какой-то из своих подруг, а во время больших каникул – с нами, детьми, позднее же, после 1904 года, больше всего со мной и братом Вернером. Так и получилось, что между 1909 и 1914 я четырежды с ней путешествовал. Мы с ней побывали в Швейцарии – в Лугано, на курортах Бриенцкого озера и высоко в горах в долине Мадеранерталь, где и застало нас начало Первой мировой войны. Отец приезжал к нам иногда в конце недели, если находился не слишком далеко от Берлина, а также на последнюю неделю больших каникул.

Среди близких родственников она конечно же пользовалась исключительной любовью. Этому помимо спокойного и весёлого нрава, а равно безупречно складной и остроумной речи способствовало ещё и то, что она, будучи много старше остальных дядей и тёток, никогда этого не подчёркивала, и таким образом уважение к старшим само собой перетекало в доверительное отношение к ней. Жаркие споры о социализме, сионизме или по поводу отношения к Первой мировой войне, которые вскорости заняли столь большое место в нашей жизни, никогда не подталкивали её к страстному или даже просто твёрдому отстаиванию той или иной позиции. Она с пониманием относилась к обеим сторонам, сама же никогда ничем себя не связывала – ни себя, ни других. Я не мог на неё за это не обижаться – был для этого слишком азартен и безапелляционен, она же на самом деле, не могу этого не признать, даже в весьма непростых обстоятельствах сделала для меня очень много, даже и под угрозой горьких супружеских раздоров.

## II. Еврейская среда

Самой живописной личностью в нашем семейном кругу был дядя Теобальд, младший десятью годами брат моего отца и, как я говорил, единственный среди нас сионист, ставший таковым ещё до своей женитьбы. В нашей среде, целиком настроенной весьма антисионистски, он составлял энергичную оппозицию, и задолго до того, как я пришёл в собственный разум, в семье разгорались с ним по этому поводу бурные дискуссии. Отец изредка печатал еврейские книги, по большей части беллетристику (чаще всего для издательства З. Кронбаха), а также несколько лет – еженедельник еврейской тематики, редактируемый человеком с необычной двойной профессией: Макс Альберт Клаузнер был весьма компетентным гебраистом и имел общее еврейское образование; в совсем юном возрасте он эмигрировал из Польши в Германию, где пользовался известностью как еврейский писатель и публицист. Помимо этого он вёл и другую деятельность, уж не знаю, основной она была или побочной, – в течение многих лет состоял тайным агентом и советником Министерства иностранных дел по особо деликатным поручениям в России, о чём мать позже доверительно сообщила мне под условием полного молчания. “Israelitische Wochenschrift”<sup>10</sup> выходил приблизительно десять лет, и вскорости после его закрытия я заинтересовался иудаизмом. Этот журнал имел, помимо прочих, то преимущество, что многие регулярно публикуемые объявления оплачивались в нём не наличностью, а “in naturalibus”<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> “Israelitische Wochenschrift” [«Еврейский еженедельник» – нем.] – журнал, выступавший против радикальных течений в еврействе, выходил в Берлине в 1894–1906 гг., из которых 8 лет его гл. редактором был Макс Клаузнер.

<sup>11</sup> Здесь – товаром, продуктом (лат.).



Обложка журнала “Israelitische Wochenschrift”. Выпуск от 25 января 1901

Поэтому к нам бесплатно поступали не только двадцать томов Энциклопедического словаря Мейера<sup>12</sup>, но и нередко то, что мать называла «рекламной колбасой». Сестра моей матери очень тесно дружила с дочерьми Клаузнера<sup>13</sup>, поэтому эти и некоторые им подобные издания

<sup>12</sup> Основная нем. энциклопедия, названная по имени своего издателя, Иосифа Мейера (1796–1856). Первое издание (1839–1855) включало 52 тома. У Шолема идёт речь о 6-м двадцатитомном издании энциклопедии (1902–1908). Именно это издание вышло самым большим тиражом из всех изданий энциклопедии.

<sup>13</sup> В семье М. А. Клаузнера было четыре дочери: Ирма (1874 г. р., изучала медицину), Гертруда (1877 г. р., стала учителем), Джудит (1878 г. р., художница), Эдит (1879 г. р., стала одной из первых женщин-судей в Германии).



их отца попадали в наш дом. Само собой разумеется, что Еженедельник был выраженно анти-сионистским, и в последние годы перед войной я с большим раздражением листал эти толстые тома, однако отец пропускал мимо ушей все мои возражения.

Совсем другое дело дядя, который вместе с другим братом вступил во владение дедовской фирмой. Начиная с 1905 года Сионистская организация стала его крупнейшим заказчиком. Так, он печатал два немецкоязычных органа этого движения, *“Jüdische Rundschau”*<sup>14</sup>, рупор сионистского единства Германии, который позднее, под руководством Роберта Вельча, одного из виднейших журналистов того времени, сыграл важную роль в истории немецкого еврейства. Вдобавок между 1911 годом и началом Мировой войны к нам попадала газета *“Die Welt”*<sup>15</sup>, центральный орган Сионистской организации, основанная Теодором Герцлем. Когда я начал интересоваться этой проблематикой, я раз недели в две бегал на главную улицу Шёнеберга, чтобы забрать накопившиеся номера.

Дядя был неудавшимся учёным. Помыслы его клонились к изучению истории и этнографии, и книжный шкаф дубового дерева в его квартире в районе Фриденау был наполнен книгами о Дальнем Востоке, Японии, Китае, Тибете, Индии, а также о буддизме и исламе. Это он познакомил меня с «Буддийским катехизисом» Субхадры Бхикшу (знаменитого Фридриха Циммермана), первой книгой о дальневосточной религии, которую мне довелось прочитать. Когда дядя вошёл в достаточный возраст и сдал экзамены, позволившие сократить его военную службу до одного года (а учился он со своими братьями в той же школе, что и я со своими), финансовые трудности заставили его оставить школу и пойти учиться ремеслу, с которым он постепенно хорошо сжился. Все братья Шолемы по настоянию родителей ещё год посещали религиозную школу при одной маленькой синагоге, но лишь мой дядя получал огромное удовольствие, научившись, во всяком случае, бегло читать ивритские тексты, напечатанные с огласовками, главным образом, Сидур и пасхальную Агаду. И хотя бо́льшую часть прочитанного он едва ли понимал, всё-таки они с братьями наизусть знали традиционные мелодии, которых они наслушались в родительском доме в пятничные вечера и в Седер.

Внешне дядя был очень похож на отца, энергию, ум и хозяйственную жилку унаследовал от матери. Вообще говоря, он очень твёрдо отстаивал свои взгляды, но при этом всегда заботился о согласии внутри семьи, что в нашем случае и при столь большой разнице в возрасте между ним и моим отцом было далеко не просто. Сионизм он воспринимал как некое душевное освобождение, которое выражалось у него несколько парадоксальным образом. Он был одним из основателей гимнастического клуба «Бар-Кохба» и в 1903 году выступал перед Теодором Герцлем на Сионистском конгрессе в Базеле<sup>16</sup>. Фотография гимнастической команды, выстроившейся вокруг Герцля, висела у него в гостиной.

Дядя был изрядный чудак. Его оппозиционность в отношении братьев в моём восприятии выражалась не столько в идеологических разногласиях, которые, очевидно, проявились задолго до моего взросления, как в том, с каким удовольствием он, во время наших пятничных ужинов, употреблял специфически еврейские обороты, а порой и солёцизмы. Это были остатки идиша, которым его предки в Силезии и Познани владели ещё совершенно свободно, и те смешанные чувства, с которыми вся компания воспринимала дядины языковые опыты, похоже, лишь подогревали его творчество в этой области. Для еврейской буржуазии поколения

---

<sup>14</sup> Здесь и далее курсивом выделены понятия, не единожды встречающиеся в тексте, которые мы поместили в раздел «Глоссарий».

<sup>15</sup> *“Die Welt”* [«Мир» – нем.] – еженедельная газета, основанная Т. Герцлем в 1897 г. Кроме информации о сионист. движении и проблемах в евр. поселениях Палестины, газета освещала культурные события.

<sup>16</sup> «Бар-Кохба» открылся в Берлине в 1897 г. как один из гимнастических клубов межд. евр. спорт. организации «Маккаби». Именно этот клуб инициировал выпуск первого спорт. период. издания. В 1903 г., на IV Сионистском конгрессе в Базеле среди 35 выдающихся гимнастов различных евр. гимнаст. клубов Европы, участвующих в показательном выступлении, был и Теобальд Шолем.

моих родителей использование подобных оборотов (с ашкеназским выговором) в семейном кругу было чем-то абсолютно привычным. Но в обществе никто из них такого себе не позволял. Дядя за пятничным столом разбрасывал эти фразы среди домашних как некие пароли.



Группа гимнастов на IV Сионистском конгрессе. Базель. 1903

В его квартире на видном месте висел ящик от Еврейского национального фонда для сбора денег на покупку земли в Палестине. Если он выигрывал какой-то спор с братьями, проигравший должен был бросить в ящик одну марку.

В идее гимнастического клуба, которому было предназначено наполнить содержанием ужасную формулу Макса Нордау «мускулистый иудаизм»<sup>17</sup>, выражалось стремление к физическому обновлению еврейства. И в этой идее дядя, сам чрезвычайно от всего этого далёкий, находил род успокоения, для меня совершенно непостижимым образом. Формула эта раздражала меня с самого начала, и хотя он, как только я обнаружил симпатию к сионизму, стал упорно уговаривать меня вступить в такой клуб, я всё же не мог насытить гимнастикой по рецептам папаши Яна<sup>18</sup> свою еврейскую жажду знаний и постижения мира. В результате, повзрослев, я стал относиться к дяде более осторожно. Его мятущаяся натура вызывала во мне большую симпатию, однако свойственное ему, как мне казалось, далёкое от реальности видение сионизма всё сильнее меня раздражало. При этом был ему весьма признателен за то, что во время войны, когда я вступил в тяжёлый конфликт мировоззренческого характера со своим отцом, он принял мою сторону. В те времена этот выбор был далеко не самоочевиден. Но по-настоящему глубокую внутреннюю связь я ощущал с тётушкой Хедвиг, главной моей опорой во всём семействе. Мои тогда ещё смутные, но несомненные стремления к духовной сути сионизма находили у неё дружескую поддержку. Когда во мне зародилась эта склонность, ей не

<sup>17</sup> Эта формула прозвучала в речи М. Нордау (1849–1923), врача и писателя, одного из лидеров сионизма, на Втором сионистском конгрессе (Базель, 1898). В ней нашла отражение идея культивирования умственной и физической силы, необходимая, по мнению докладчика, для возрождения евр. народа.

<sup>18</sup> Речь идёт о нем. офицере и педагоге Фридрихе Людвиге Яне (1778–1852). Он основал несколько спорт. обществ и целью своей жизни видел поднятие духа нации путём развития физических способностей.

было ещё тридцати, и между нами установились подлинно доверительные отношения. В годы войны, да и позже я частенько навещался к ним на Фриденау, мы вместе обедали, и когда дядя удалялся немного отдохнуть, я обсуждал с ней все вопросы еврейской тематики, которые меня занимали. Сразу после войны она взяла в дом для ухода за двумя своими дочерьми, моими маленькими кузинами Евой и Диной, молодую девушку.

Эстер Дондикофф, симпатичная и весьма привлекательная, свободно говорила на иврите, родом была из какой-то еврейской деревни в Эрец-Исраэль, а в Берлин приехала, чтобы выучиться на воспитательницу детского сада. Она учила мою тётю ивриту и распевала малышам еврейские песенки, популярные у неё на родине. Позже она вышла замуж за Моше Смилянского, одного из самых уважаемых и здравомыслящих людей еврейской Палестины, который с великой энергией долгие годы содействовал еврейско-арабскому диалогу.



Еврейский детский сад. Иерусалим. 1916



Дети, ухаживающие за посадками. Иерусалим. 1916

Тётка моя пришла в восторг, узнав, что я решил сразу по окончании учёбы уехать в Палестину. Она, без сомнения, и сама с удовольствием бы уехала. Препятствовали этому лишь расчёты дядюшки, крайне осмотрительного в делах: он сомневался, что сможет на новом месте учредить большую типографию, достаточно рентабельную для поддержки семейства. Таковы были планы начала двадцатых годов, всплывавшие в наших разговорах до моего отъезда. Когда Гитлер пришёл к власти, обе мои кузины уехали в Палестину, а в 1938 году за ними последовали и дядя с тёткой, и это была единственная ветвь нашей семьи, осевшая на этой земле.

Теперь я хотел бы сказать несколько слов об ассимиляции как явлении, которое в годы моей юности занимало столь большое место в жизни немецкого еврейства. Формировалось оно весьма многочисленными факторами.

В начале века молодой еврей, если только он не принадлежал к строго ортодоксальному меньшинству, сталкивался с проблемой нарастающего духовного раздробления еврейства. В самой атмосфере было растворено нечто привнесённое извне, нечто рассудочное, в котором диалектически совмещалось стремление к отказу от своего Я и – одновременно – к сохранению человеческого достоинства и верности себе. Некий осознанный разрыв с иудейской традицией, осколки которой, разнообразнейшие и порой самые диковинные, по-прежнему сохранялись в спорадическом состоянии. С этим сочеталось (не всегда осознанное) желание прорваться в мир, который должен был прийти на смену этой традиции. Образ этого мира дробился в столь же разнородных представлениях, какие господствовали в нееврейской среде. Надежда на общественную эмансипацию (которая предположительно должна была последовать за эмансипацией политической, в целом завершившейся в 1867–1870 годы), частично вкупе с надеждой на ассимиляцию в немецком народе, питаемая и оживляемая примером нееврейских борцов за такую же эмансипацию, – находилась в конфликте с опытом растущего антисемитизма, причём опытом сильно дифференцированным. И лишь хорошее воображение, позволявшее принимать желаемое за действительное, позволяло игнорировать этот опыт. Таковы были многочисленные факторы, вполне органичные в условиях того времени, факторы, которые нельзя теперь недооценивать. И это в первую очередь относится к поколению 1850–1880-х, единственному

в немецкой буржуазной среде, в котором преобладал классический либерализм. И всё же в поколении моих родителей гнезился ещё более опасный и чреватый серьёзными последствиями фактор, осознали который лишь те (их было довольно много), кто в результате шока или относительно медленного развития сумел избежать этого феномена. Я говорю о самообмане, уразумение коего стало одним из ключевых переживаний моей юности. Утрата трезвого мышления в том, что непосредственно касается их самих, свойственная большинству евреев, при том что в других сферах жизни они обнаруживают высокую меру разума, критичность и проницательность, которыми окружающие справедливо восхищаются или воспринимают их негативно. Эта способность к самообману составляет одну из важнейших и самых мрачных черт, свойственных взаимоотношениям немцев и евреев.

Еврейское остроумие вполне могло распознать и артикулировать этот самообман в его историческом обличье, и только оно и могло облегчить его осознание в умах большинства. Количество еврейских анекдотов на эту тему бесконечно. Сегодня, однако, уже трудно бесстрастно читать наиболее яркие свидетельства самообмана такого рода, отражённые в писаниях Германа Когена, Фрица Маутнера и язвительнейшего Константина Бруннера, племянника главного раввина Гамбурга. Все трое были в своё время известными философами. В этой литературе есть нечто жуткое, и беда в том, что заметно это стало не только теперь, когда всё уже в прошлом, но было заметно и в ту пору, когда их ещё публично прославляли. Этот вид самообмана действовал также – уж не знаю, сознательно или неосознанно, – как цензура в некоторых научных публикациях на тему истории евреев в Германии. До сих пор вспоминаю, с каким негодованием я читал в “*Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland*”<sup>19</sup> многочисленные статьи его тогдашнего редактора Людвига Гейгера, экстраординарного профессора Берлинского университета и сына Авраама Гейгера, который был одним из трёх наиболее значительных еврейских учёных XIX века в Германии. Вот где самоцензура превратилась в метод!

Одно несомненно: широкая прослойка, о которой я говорю, равно как её духовные и политические представители, хотели верить в ассимиляцию, в слияние со средой, которая в целом относилась к ним равнодушно или с лёгкой неприязнью. Верно и то, что до известной степени, о которой сегодня можно судить по-разному, немецкое окружение поощряло этот процесс и приветствовало его, тогда как некоторые другие существенные элементы были этим процессом недовольны и обеспокоены. Насколько далеко это заходило, прекрасно отражено в одном высказывании знаменитого социолога и экономиста Вернера Зомбарта, который разрывался между либеральными и антилиберальными воззрениями. Это высказывание, когда оно было опубликовано в 1912 году и широко цитировалось, вызвало у евреев огромный ажиотаж<sup>20</sup>. Смысл его был в том, что равенство в правах и эмансипацию евреев не следует отменять, однако евреи должны, прежде всего в общественной жизни, добровольно от них отказаться. Появившись в канун Первой мировой войны, этот тезис сыграл роль штормового предупреждения более отчётливого, чем вместе взятые сигналы, исходящие от пангерманистов и прямых антисемитов.

Ко времени моего взросления образ жизни ассимилированных евреев уже обернулся изрядной неразберихой. Вот, к примеру, как попал ко мне портрет Теодора Герцля, родоначальника сионистского движения, многие годы висевший у меня в комнате сначала в Берлине, потом в Мюнхене. В нашей семье ещё со времён бабушки и деда (при них-то и воцарилась эта неразбериха) всегда праздновали Рождество. Подавали запечённого зайца или гуся, украшали ёлку, которую мать покупала у церкви св. Петра, одаривали слуг, родственников и дру-

---

<sup>19</sup> “*Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland*” [«Журнал по истории евреев в Германии» – нем.] – ежеквартальное издание, выходившее в 1887–1892 гг.

<sup>20</sup> Вероятно, имеется в виду позиция, изложенная В. Зомбартом в книге “*Die Zukunft der Juden*” [«Будущее евреев»], 1912.

зей. Считалось, что это немецкий народный праздник, в котором мы принимали участие не как евреи, а как немцы. Моя тётя, умевшая играть на фортепиано, исполняла для поварихи и горничной гимн «Тихая ночь, святая ночь», и те заодно с некоторыми из гостей напевали эту берущую за душу мелодию. Ребёнком я это хорошо усвоил, но в последний раз участвовал в подобной церемонии в 1911 году, как раз когда начал изучать иврит. Под ёлкой стоял портрет Герцля в чёрной рамке. Мать сказала: «Раз уж ты так интересуешься сионизмом, мы решили подарить это тебе». С тех пор я на Рождество уходил из дома.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.